

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 23

Юрий КАРЯКИН

ДОСТОЕВСКИЙ

ОЧЕРКИ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1984

Страну забыт, я омский каторжанин
Все понял и на всем поставил крест.
Вот он сейчас перемешает все
И сам над первозданным беспорядком
Как некий дух взнесется. Полночь бьет.
Перо скрипит, и многие страницы
Семеновским припаивают плацем...

(Анна Ахматова).

Встреча вторая. 16 апреля 1864 года. Ему сорок два. Перед этим затраница, роман с А. Сусловой. Жена, Мария Дмитриевна, в Москве, в чахотке. Суслова требует развода. Он отвечает: «Она же умирает...» Игра. Проигрыши. Займы. Долги. Невероятные унижения. Измена Сусловой. Попреки из дома. Пропасть. Омут. Нет, кажется, никакого выхода. У него вырывается отчаянное: «Не потерянный же я человек...» Но он, как прежде, как всегда, предчувствует (знает!) в себе такие творческие силы, о которых никто на всем свете, кроме него, и не подозревает. Да может быть, по одной только силе этого предчувствия, этого знания и берет себе право всем рисковать (тоже ведь отчасти право на «все дозволено»)...

И вот 15 апреля Мария Дмитриевна умирает. Он рядом. И, вероятно, в ночь с 15-го на 16-е делает такое исповедальное признание, пронзительнее и откровеннее которого даже у него трудно, да, пожалуй, и невозможно отыскать:

«16 апреля. Мама лежит на столе. Увижу ли с Машей?

Возлюбить человека, как *самого себя* по заповеди Христовой, — невозможно. Закон личности на Земле связывает. Я препятствует... Между тем... высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего я, — это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье. Таким образом, закон я сливается с законом гуманизма...

Итак, человек стремится на земле к идеалу, — *противоположному* его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, т. е. не приносил любовью в жертву своего я людям или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравновешивается райским наслаждением исполнения Закона, т. е. жертвой. Тут-то и равновесие земное. Иначе Земля была бы *бессмыслена*.

Это и была встреча со своей нравственной смертью (нечто подобное случалось и прежде — в письме от 22 декабря 1849-го есть об этом, — но в такой "степени" — никогда). И она оказалась ничуть не легче той, первой. И никто тут уж помиловать не мог. Никто не мог помочь, кроме самого себя. А он к себе беспощаден и потому только и находит силы воскреснуть.

Он уничтожает прекраснодушный самообман: будто «само собой разумеется», что всякий человек уже изначально и неуклонно любит все человечество больше себя. «Близких» — не «дальних» — оказывается, полюбить на деле — труднее всего.

И опять-таки он переживает и эту встречу со своей нравственной смертью как встречу с нею и других людей, всего человечества. И опять разом постигает такое, что иным путем постигнуть, наверное, и невозможно. И не отсюда ли тоже — многие его прозрения?

Из всех страданий самое глубокое для него — страдание от невозможности полюбить другого «как самого себя». Но страдание это есть лишь возмездие именно за безраздельную любовь к себе одному. Однако из всех радостей — наибольшая: преодолеть эту невозможность. Ад, напишет он позже, есть «страдание о том, что нельзя уже более полюбить». Неодоление этого — самоубийственно и для человека и для человечества. И многие страницы его откликаются не только Семеновским планом, но и той ночью, когда: «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?..»

И еще об одной встрече со смертью — на этот раз со смертью Некрасова, в декабре 1877-го. 28-го он пошел на квартиру Некрасова, постоял у его гроба. Некрасов вместе с Белинским подарил ему самую восхитительную минуту его жизни — приветствием «Бедных людей». С ним же он так много, жестоко, несправедливоссорился («желчь и злоба»).

«Воротясь домой, я не мог уже сесть за работу; взял все три тома Некрасова и стал читать с первой страницы. Я просидел всю ночь до шести часов утра, и все эти тридцать лет как будто я прожил снова... и буквально в первый раз дал себе отчет: как много Некрасов, как поэт, во все эти тридцать лет, занимал места в моей жизни!.. А прожили мы всю жизнь врозь...»

Слова трагические, исповедальные, даже страшные: сказал бы он это, если б Некрасов не умер? А услышь это живой Некрасов? Неужели для понимания спасительного братства опять нужна была смерть?.. Опять и опять подтверждается страшная, трагическая цена познания: надо встретиться со смертью, чтобы постигнуть бесконечную ценность жизни, смысл примирения родных по духу людей.

Именно такое примирение — вот чем он дышит, вот в чем видит спасение и человека, и России, и всего человечества: «Мысль, все более меня занимающая, — где те пункты, в которых мы могли бы все, разных направлений, сойтись?»

Но еще раз подчеркну — не забудем о нем и такое (он сам не забывал): «Самое несносное несчастье, это когда делаешься сам несправедлив, зол, гадок; сознаешь все это, упрекаешь себя даже и не можешь себя пересилить. Я это испытал». Не забудем: «А хуже всего то, что натура моя подлая и слишком естественная: везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил. Бес тотчас

28 октября 1860-го: «Не старейтесь никогда сердцем и не теряйте (что бы ни случилось в жизни) ясного взгляда на жизнь. Да здравствует вечная молодость! Верьте, что она настолько же зависит от власти времени и жизни, насколько и от нашей».

31 марта 1865-го (после смерти жены, брата, друга): «И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась разом надвое... Буквально — мне не для чего оставалось жить... Стало все вокруг меня холодно и пустынно... Из всего запаса моих сил и энергии осталось у меня в душе что-то тревожное и смутное, что-то близкое к отчаянию. Тревога, горечь, самая холодная суетня, самое ненормальное для меня состояние и вдобавок один — прежних и прежнего, сорокалетнего, нет уже при мне. А между тем все мне кажется, что я только что собираюсь жить. Смешно, не правда ли? Кошачья живучесть».

А вспомним, в каких условиях он создавал «Преступление и наказание», вспомним о подвиге 26 дней октября 1866 года, когда был написан «Игрок».

«Я убежден, что ни единный из литераторов наших, бывших и живущих, не писал под такими условиями, под которыми я постоянно пишу. Тургенев умер бы от одной мысли».

Апрель 1867-го, жене, после проигрыша: «Но что мне сделается! Я вынослив до грубости».

18 ноября 1867-го, жене: «Теперь роман, один роман спасет нас, и если бы ты знала, как я надеюсь на это!.. Точно то же было в 65-м году. Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла» (это он опять пишет после проигрыша).

Почти всю жизнь он искал и находил выход из самых безвыходных (житейски) ситуаций, но парадокс состоял в том, что для этого выхода он должен был писать гениальные произведения — не иначе! А может, потому и находил, что не написать их не мог.

13 января 1868-го, об «Идиоте»: «...в романе и отдача моего долга, и жизнь наущенная, и все мое будущее заключалось».

4 апреля 1868-го, тоже об «Идиоте» и тоже после очередного катастрофического уже проигрыша: «Знай, мой Ангел, что если бы не было теперь этого скверного и низкого происшествия... то может быть, не было бы и той удивительной, превосходной мысли, которая посетила теперь и которая послужит к окончательному общему нашему спасению!.. Я теперь в такой бодрости, в такой бодрости!»

Всегда у него — взрыв жизненных, духовных сил в самую отчаяннейшую минуту.

Все это — до 31 января 1873-го.

А вот несколько высказываний после.

1877-й: «С кем не бывает неудач? Да и стоила бы чего-нибудь жизнь, в которой все гладко. Побольше мужества и самосознания».

1877-й же: «Жизнь хороша, и надо так сделать, чтоб это мог подтвердить на земле всякий».

Но куда девался воинственный настрой Достоевского? Да просто своим прежним мыслям, прежним словам он придал некое «чуть-чуть», которое и сделало их неотразимыми. Это «чуть-чуть» и превратило живое слово в художественное произведение. Речь стала литературой, искусством. Искусство, может быть, впервые столь властно и непосредственно вторглось в жизнь. Искусство примирило, как, собственно, и «положено» настоящему искусству. И на мгновение все злободневные страсти умолкли, как бывает это, скажем, когда разные люди слушают Баха или Моцарта. Тайна речи — тайна высшего искусства.

Убедительно? Очень. А все-таки остается какой-то «икс», какое-то «но». Куда же девалась нараставшая воинственность? Просто смягчились искусством? Не просто.

Сколько раз (не счесть) он писал: будь братом, иначе не будет братства. Одолей себя и станешь всесилен...

Он постиг «естественную силу природного закона, закона смерти человеческой», закона, который примиряет людей, и это особенно неотразимо открывалось ему лично и 22 декабря 1849 года («Нет желчи и злобы в душе моей...»), и 16 апреля 1864 года («я и Маша»), и в декабре 1877-го, когда умер Некрасов.

А сейчас вся читающая Россия жила «Братьями Карамазовыми» и уже прочла о том, что если человека в ужас приводят злоба и ложь людские, то не сам ли он виноват в том, ибо дан ему был светильник и, стало быть, он сам мог светить светлее. Прочитала: «Воистину и ты в том виноват, что не хотят тебя слушать». Прочитала и ждала финала, не зная еще, каким он будет. А он, Достоевский, знал: будет потрясающая сцена у постели умирающего Илоши, а потом — у «Илошиного камня»...

Он знал еще, что должен читать из Пушкина — монолог Пимена и «Пророка». Не эти же стихи должны были поддлить масла в огонь его воинственности! Величавое спокойствие старца и духовная исповедь Пушкина: это ведь не о ком-то — о себе — Пушкин писал: «И вырвал грешный мой язык, и празднословный и лукавый...»

И что же? В день Пушкина — Пушкина! — поднять знамя войны?

К этому все шло, но этого не случилось.

«Прежде чем проповедывать людям: «как им быть? — покажите это на себе. Исполните на себе сами и все за вами пойдут... Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять,— вот в чем вся тайна первого шага».

В 33-м номере гостиницы Лоскутной (на Тверской) поздним вечером 7 июня он пишет Анне Григорьевне: «Завтра 8-го мой роковой день... Анненков льнул, но я отворотился... видишь, Аня, пишу тебе, а еще речь не просмотрена окончательно. Надо еще речь исправить... Завтра мой главный дебют...»

Не в эту ли ночь с 7-го на 8-е и произошло окончательное изгнание